

Лекция 8. Буленвилье и установление историко- политического континуума. Историзм.

25 февраля 1976 г. Буленвилье и
установление историка-политического
континуума. — Историзм. —
Трагедия и государственное право. —
Центральная администрация истории.
— Проблематика Просвещения и
генеалогия знаний. — Четыре
процедуры дисциплинирования знания
и их последствия. — Философия и
наука. — Установление дисциплины
знаний

Говоря о Буленвилье, я вовсе не стремился показать, что он был родоначальником истории, нет никакого основания утверждать, что возникновение истории связано скорее с ним, чем,

например, с юристами XVI века, которые сверяли монументы государственного права; или с парламентариями, которые на протяжении всего XVII века искали в архивах и в государственной юриспруденции ответа на вопрос о том, какими должны быть основные законы королевства; или с бенедиктинцами, усердно собиравшими хартии с конца XVI века. Я думаю, что с начала XVIII века усилиями Буленвилье историко-политическая область конституировалась фактически. В каком смысле? Прежде всего в том, что, рассматривая нацию или, скорее, нации в качестве объекта, Буленвилье проанализировал — в ходе изучения институтов, событий, королей и их власти — нечто другое, а именно, общество, как говорили в ту эпоху, когда связывались вместе интересы, обычаи и законы. Выбрав этот объект, он осуществил двойную конверсию. С одной стороны, он (и я думаю, что это было сделано в первый раз) выявил историю субъектов, то есть историю, не совпадающую с историей власти; он начал выделять в истории нечто, что в XIX веке с приходом Мишле станет историей народа или народов.¹ Он открыл определенный исторический материал, который был оборотной стороной властных отношений. И он анализировал его не как инертную субстанцию, а как силу или силы, при этом власть была только одной из них, особой силой, самой странной из всех сил, которые борются внутри общественного организма. Власть олицетворяет маленькая группа людей сама по себе, не обладающая силой; и, однако, в конечном счете власть становится самой большой из всех сил, так что ей никто не может сопротивляться, разве что с помощью насильственных действий или восстания. Открытие Буленвилье состояло в том, что он отказался от истории, понятой как история власти, вместо этого он предложил другой образ истории, сосредоточенной на чудовищной или, во всяком случае, странной паре, загадку которой ни одна юридическая фикция не могла точно выразить или проанализировать, этой парой являлись изначальные силы народа и сила, созданная чем-то, что само не было силой, но тем не менее было властью. Перемещая ось, центр тяжести своего анализа, Буленвилье сделал нечто важное. Прежде всего потому, что он выдвинул принцип о реляционистском, так сказать, характере власти: власть это не собственность и не сила; власть это всего лишь отношение, которое можно и нужно изучать только в зависимости от тех сторон, отношение между которыми исследуется. Нельзя, стало быть, создать ни истории королей, ни истории народов, а только историю конституирования двух противостоящих друг другу крайних сил. Причем, ни одна из них не является бесконечной, но и не сводится к нулю. Разрабатывая такую историю, определяя реляционистский характер власти и анализируя его проявление в истории, Буленвилье отверг — и это, я думаю, другой аспект его подхода — юридическую модель суверенитета, которая до того была единственным способом мыслить отношение между народом и монархом, или между народом и правителями. Буленвилье описал феномен власти не в юридических терминах суверенитета, а в исторических терминах господства и игры сил. И именно в этой области он увидел объект своего исторического анализа. Поступая таким образом и взяв в качестве объекта своего рассмотрения власть, природа которой по существу реляционна и неадекватна юридической форме суверенитета, определяя ту область сил, где выражаются властные отношения, Буленвилье выбрал в качестве объекта исторического знания то же, что анализировал Макиавелли² в пределах определенной стратегии — стратегии, рассматриваемой к тому же только со стороны власти и государя. Можно было бы возразить, что Макиавелли не только давал государю серьезные или иронические — это другой вопрос — советы по управлению и организации власти и что, в конце концов, весь текст «Государя» полон исторических референций. Можно было бы также сказать, что Макиавелли написал «Размышления о первой декаде Тита Ливия» и т. д.

Но фактически, для Макиавелли история не была той областью, где нужно анализировать властные отношения. История была для него просто областью примеров, своего рода сборником юриспруденции или тактических моделей, могущих служить образцом для власти. История для Макиавелли всегда была только записью о соотношении сил и связанных с этим подсчетов. Зато для Буленвилье (и это, по-моему, важно) соотношение сил и игра власти составляют саму субстанцию истории. Если есть история, события, если случается что-то, память о чем можно и нужно сохранить, то это происходит в той мере, в какой между людьми как раз устанавливаются властные отношения, проявляются соотношения сил и определенная игра власти. Следовательно, исторический рассказ и политический расчет имеют в точности, по Буленвилье, один и тот же объект. Конечно, исторический рассказ и политический подсчет не имеют одной цели, но то, о чем они говорят, о чем стоит вопрос в этом рассказе и в этом подсчете, прочно между собой связано. Таким образом, у Буленвилье появился, как я думаю, в первый раз историко-политический континуум. Можно также сказать и по-другому: Буленвилье открыл историко-политическую область в силу причины, которую я сейчас изложу. Я говорил и я думаю, что главным для понимания мысли Буленвилье была ее направленность на критику знания интендантов, того рода анализа управления и программы управления, которую интенданты и вообще монархическая администрация без конца предлагали власти. Буленвилье, конечно, резко противостоял этому знанию, но он ввел его в свой собственный дискурс, чтобы в своих целях заставить функционировать те самые аналитические приемы, которые встречаются в знании интендантов. Речь шла о том, чтобы его конфисковать и заставить работать против системы абсолютной монархии, которая была одновременно местом рождения и областью использования административного знания, знания интендантов, экономического знания.

И по сути, когда Буленвилье анализирует в истории весь ряд отношений между военной организацией и налоговой системой, он только приспособливает, использует для собственных исторических анализов ту форму обзора, тот тип мышления, ту модель отношений, которые именно и были выработаны знанием административным, фискальным, знанием интендантов. Например, когда Буленвилье объясняет отношение, существующее между наемничеством, повышением налогов, задолженностью крестьян, невозможностью продать урожай, он просто воспроизводит, но в историческом измерении, то, о чем шла речь у интендантов или финансистов в царствование Людовика XIV. Те же самые рассуждения можно встретить, например, у людей типа Буагильбера³ или Вобана⁴. Отношение между сельской задолженностью и городским обогащением также было предметом крупной дискуссии на всем протяжении конца XVII и начала XVIII века. Таким образом, один и тот же тип рассуждений можно встретить и в знании интендантов, и в исторических анализах Буленвилье, но он первый заставил этот тип мышления функционировать в глубине исторического рассказа. Иначе говоря, Буленвилье заставил работать в качестве принципа понимания истории то, что до того было принципом рациональности государственного управления. Я думаю, важно здесь то, что исторический рассказ и государственное управление оказываются связаны между собой. Использование модели рациональности государственного управления как спекулятивной сетки для понимания истории и составляет историко-политический континуум. Этот континуум теперь заставляет говорить об истории и анализировать государственное управление с помощью одного и того же словаря и одной понятийной сетки или системы отсчета. Наконец, я думаю, что Буленвилье основал историко-политический континуум, потому что он, рассказывая об истории, имел

точную и особую цель: для него речь шла исключительно о том, чтобы вернуть дворянству и утраченную им память, и знание, которым оно всегда пренебрегало. А вернуть ему память и знание, что и было целью Буленвилье, значило вернуть ему силу, воссоздать дворянство как силу, действующую среди других сил социального целого. Следовательно, для Буленвилье занятие историей, рассказ об истории связаны не просто с желанием описать соотношение сил, не просто с повторным использованием, например, в интересах дворянства рационального метода, который до тех пор использовало правительство. Речь идет о том, чтобы изменить существующее в настоящее время соотношение сил, их равновесие. История служит не просто для анализа или расшифровки сил, но и для их модификации. Следовательно, контроль над историческим знанием, его обоснованность, короче, обладание исторической истиной равноценны занятию решающей стратегической позиции.

Подводя итоги, можно сказать, что утверждение историко-политической области выражается в факте перехода от истории, которая до тех пор говорила о праве, рассказывая о подвигах героев или королей, об их битвах, войнах и т. д., к истории как способу современной войны, ибо она обнаруживает войну и борьбу, пронизывающую все институты права и мира. Таким образом, история становится знанием о борьбе, она разворачивается и функционирует в области борьбы: отныне связаны друг с другом политическая борьба и историческое знание. И если правда, что никогда не было столкновений, которые бы не становились объектом воспоминаний, не закреплялись в памяти, не вызывали к жизни различные памятные ритуалы, то теперь, я думаю, начиная с XVIII века — именно тогда политическая жизнь и политическое знание начинают включаться в реальную общественную борьбу — сама стратегия борьбы, присущий ей подсчет соединяются с историческим знанием, представляющим собой расшифровку сил и их анализ. Нельзя понять появление специфически современного измерения политики без понимания того, как историческое знание начиная с XVIII века становится элементом борьбы: одновременно описанием борьбы и оружием в борьбе. Итак, организация историко-политической области. История снабдила нас идеей, что мы находимся в ситуации войны и мы ведем войну с помощью истории.

Раз это сказано, не хватает еще пары слов, прежде чем начать анализ войны, пронизывающей историю народов. Одно — по поводу историцизма. Все, конечно, знают, что историцизм самая ужасная вещь в мире. Нет философии, достойной этого имени, нет социальной теории, нет хоть немного заметной или выше среднего уровня эпистемологии, которые не должны явно и резко бороться против пошлости историцизма. Никто не осмелился бы признать, что он историцист. И я думаю, что легко можно было бы показать, что начиная с XIX века все великие философские системы были так или иначе антиисторицистскими. Можно было бы, я думаю, также показать, что все гуманитарные науки сохраняются и, может быть, в конечном счете существуют только как антиисторицистские.⁵ Можно было бы показать также, как история, историческая дисциплина, в своих (так очаровывающих) обращениях то ли к философии истории, то ли к юридической и моральной идеальности, то ли к гуманитарным наукам стремится избежать своей фатальной и внутренней склонности к историцизму. Но что такое историцизм, к которому все, будь то философы, представители гуманитарных наук, историки, относятся столь подозрительно? Что такое историцизм, который нужно любой ценой предотвратить и который современная философская, научная и даже политическая мысль всегда пытались

предотвратить? Я думаю, что историцизм это не что иное, как только что в точности мною описанное: это узел связи, неминуемая принадлежность войны к истории и, наоборот, истории к войне. Как бы не углублялось в прошлое историческое знание, оно никогда не достигает ни природы, ни права, ни порядка, ни мира. Как бы далеко оно не простиралось, историческое знание встречает только бесконечность войны, то есть силы с их взаимоотношениями и столкновениями, и события, в которых разрешаются, всегда на временной основе, соотношения сил. История хранит в себе только войну и никогда не может от нее полностью отделаться; история никогда не может обойти войну или найти ее основные законы, или установить ее границы, а это происходит просто потому, что сама война поддерживает это знание, проходит через него, пересекает и определяет его. Всегда историческое знание оказывается только оружием в войне или еще тактическим средством для ведения войны. Таким образом, война проходит через историю, которая о ней рассказывает. История со своей стороны может только расшифровывать войну, которую она несет в себе самой и которая проходит сквозь нее.

Я думаю, что крупный узел, связанный из исторического знания и военной практики, и составляет в целом ядро историцизма, ядро, одновременно неустранимое и постоянно вызывающее стремление его очистить от той идеи, которая снова и снова пускалась в ход, тому теперь уже одна или две тысячи лет, и которую можно назвать «платоновской» (хотя никогда нельзя доверять тому, что постоянно приписывают бедному Платону, если хотят что-либо исключить); эта идея правдоподобно связана со всей организацией западного знания и сводится к утверждению, что знание и истина не могут не принадлежать к уровню порядка и мира, что никогда знание и истину нельзя найти на стороне насилия, беспорядка и войны. Эта идея (неважно, платоновская она или нет), согласно которой знание и истина не могут существовать на стороне войны, а только на стороне порядка и мира, примечательна тем, что современное государство ее глубоко развило посредством, если можно так сказать, «дисциплинирования» знаний в XVII веке. Именно эта идея делает для нас историцизм невыносимым, нам трудно согласиться, что существует нерасторжимая связь между историческим знанием и войнами, о которых оно повествует и которые, однако, на него глубоко влияют. Таким образом, возникает проблема и, если угодно, первая задача: нужно попытаться быть историцистами, то есть проанализировать то постоянное и неминуемое отношение между войной, рассказанной историей, и историей, пронизанной войной, о которой она рассказывает. Именно в этом духе я попытаюсь теперь продолжить маленькую историю галлов и франков, которую начал.

Вот первое замечание, первый *excursus* в область историцизма. Второе связано с темой, которую я только что обозначил, то есть с темой дисциплинирования знаний в XVIII веке, или, скорее, если использовать другой подход, с возражением, которое можно сделать в отношении ее. Представляя историю, историю войн и войну в истории как большой дискурсивный аппарат, с помощью которого осуществлялась в XVIII веке критика государства, делая из этого отношения войны/истории условие появления «политики» [...], порядок должен установить непрерывность в своем дискурсе.[22]

[В то время как юристы исследовали архивы, чтобы установить основные законы королевства, вырисовалась история историков, которая не была песней власти о себе самой. Не нужно забывать, что в XVII веке, и не только во Франции, трагедия была одной из

крупных ритуальных форм, в которых проявлялось государственное право и обсуждались его проблемы. Так, «исторические» трагедии Шекспира были трагедиями права и короля, ориентированными, по существу, на проблему узурпации и лишения права, убийства королей и появления из этого новой ситуации, в рамках которой осуществляется коронация короля. Как индивид может с помощью насилия, интриги, убийства и войны получить государственную власть, которая должна установить мир, справедливость, порядок и счастье? Как незаконное может произвести закон? Если в ту эпоху теория и история права стремились утвердить неразъединяемую непрерывность государственной власти, трагедия Шекспира сосредоточивалась]б, напротив, на своего рода воспроизводящей ране, на язве, поражающей тело королевской власти с тех пор, как существует насильственная смерть королей и приход незаконных суверенов. Я думаю, что шекспировская трагедия является, по крайней мере на одной из ее линий, своего рода церемонией, ритуалом воскрешения в памяти проблем государственного права. Можно было бы сказать то же самое о французской трагедии, именно о трагедии Корнеля и, может быть, еще Расина. И к тому же, если говорить вообще, не оказывается ли всегда греческая трагедия по существу трагедией права? Я думаю, что есть фундаментальная, сущностная близость между трагедией и правом, между трагедией и государственным правом, как, по-видимому, есть сущностная близость между романом и проблемой нормы. Трагедия и право, роман и норма, это, может быть, нужно рассмотреть. Во всяком случае, во Франции XVII века трагедия также оказывается родом представления государственного права, историко-юридического представления о государственной власти. За одним исключением, конечно, — и тут крупное отличие от Шекспира (гениальность в сторону) — в классической французской трагедии, с одной стороны, речь вообще идет только об античных государствах. Это, наверное, связано с политической осторожностью. Но в конечном счете не нужно забывать и того, что одной из причин обращения к античности была и прямая связь по форме и даже по непрерывности его истории монархического права во Франции XVII века и особенно при Людовике XIV с античными монархиями. Тот же тип власти и тот же тип монархии, одну и ту же в субстанциальном и юридическом отношениях монархию встречаем у Августа или Нерона, в крайнем случае у Пирра и затем у Людовика XIV. С другой стороны, если и есть в классической французской трагедии соотношение с античностью, то присутствует также институт, который в некотором роде, как кажется, ограничивает трагический образ власти и заставляет трагедию повернуться в сторону театра галантности и интриги: таким институтом является двор. Трагедия античности и трагедия дворцовая. Но что такое двор, если также — и это разительно проявилось у Людовика XIV — не урок государственного права? Функция двора состоит, по существу, в созидании, устройстве места повседневного и постоянного проявления королевской власти в ее блеске. Двор в своей основе — это род постоянной, возобновляемой изо дня в день ритуальной процедуры, которая делает из индивида, частного человека короля, монарха, суверена. В своем монотонном ритуале двор беспрестанно воспроизводит процедуру с целью превратить человека, который встает, прогуливается, ест, человека с его любовью и страстями, превратить его в то же время, несмотря на все это, исходя из этого и не исключая из него ничего, в суверена. Сделать его любовь любовью суверена, его питание суверенным, его подъем и его сон проявлениями суверена: в этом состоит специфическое действие ритуала и церемониала двора. И если двор таким образом непрерывно превращает обыкновенного человека в суверена, в личность монарха, которая является самой субстанцией монархии, то трагедия делает в некотором роде обратное: трагедия разрушает и, если угодно, заново соединяет то, что

каждый день утверждает церемониальный ритуал двора.

Что делает классическая расиновская трагедия? Ее цель состоит в том, во всяком случае это относится к одной из ее особенностей, чтобы представить оборотную сторону церемонии, разрушить ее, показать момент, когда обладатель государственной власти., суверен мало-помалу предстает человеком, подверженным страстям, гневу, мстительности, человеком, любящим, идущим даже на кровосмешение и т. д., тогда возникает вопрос, сможет ли король-суверен возродиться и восстановиться, несмотря на свое разложение в вышеописанном духе: смерть и воскрешение тела короля в сердце монархии. Тем самым расиновская трагедия ставит не столько психологическую, сколько юридическую проблему. Понятно в этой связи, что Людовик XIV, желая видеть в Расине своего историографа, хотел сохранить линию прежней историографии монархии, воспевавшей саму власть, но он также позволял Расину оставаться верным своему трагедийному жанру. В основном он от него как историографа требовал написания пятого акта, то есть счастливого конца трагедии, возвышения частного человека, человека двора, с присущими ему чувствами до того уровня, когда он становится военным вождем и монархом, обладателем суверенной власти. То, что он доверил свою историографию трагическому поэту, вовсе не означало отказа от правового уровня, измены старой ориентации истории, которая должна была говорить о праве, выражать высшее государственное право. Это был, наоборот, — из-за необходимости, связанной с королевским абсолютизмом, — возврат к самой подлинной и наиболее элементарной функции королевской историографии в условиях абсолютной монархии, относительно которой никогда не нужно забывать, что через своего рода странное погружение в архаизм она делала из церемонии, обращенной на власть, сильный политический момент, а жизнь двора как место церемониала власти была как бы повседневным уроком государственного права, повседневным его проявлением. Понятно, что таким образом история, ориентированная на короля, вновь смогла принять свою подлинную форму, в некотором роде магико-поэтическую форму. История короля не могла не стать снова песней власти о себе самой. Таким образом, абсолютизм, придворный церемониал, иллюстрация государственного права, классическая трагедия, королевская историография — все это, я думаю, составляло одно целое.

Пусть мне простят эти рассуждения о Расине и историографии. Перескочим век (тот век, в начале которого жил Буленвилье) и возьмем последнего из абсолютных монархов с его историографом, Людовика XVI и Жакобо-Николя Моро, отдаленного преемника Расина, о котором я уже сказал несколько слов. Моро был администратором, министром истории, как называл его Людовик XVI в 1780-е годы. Кто такой Моро, если сравнить его с Расином?

Параллель опасная, но, может быть, она не неблагоприятна для Моро. Моро, конечно, ученый защитник короля, который в своей жизни сам несколько раз будет нуждаться в защите. Ему была определена роль защитника, которую он выполнял, потому и был так назван в 1780-е годы — в период, когда права монархии атаковались от имени истории и с очень различных позиций: не только со стороны дворянства, но и парламентариев, а также буржуазии. Это был период, когда история поистине стала дискурсом, с помощью которого каждая «нация» в кавычках, каждое сословие, каждый класс выдвигали на первый план свое собственное право; это был период, когда история становилась, если хотите, общим дискурсом политической борьбы. В этот момент, значит, появляется должность министра

истории. Здесь меня можно спросить: избавилась ли на деле история от государства, раз век спустя после Расина появляется историограф, который также связан с государственной властью, ибо он, как я только что сказал, выполняет функцию, если не министерскую, то административную. С какой же целью была создана королем эта центральная администрация истории? Она должна была вооружить короля в происходящей политической битве, поскольку он был, в конце концов, только одной из сталкивающихся сил и его атаквали другие. Нужно было также установить род мира в различных формах историко-политической борьбы. Нужно было раз и навсегда закодировать исторический дискурс, чтобы его можно было интегрировать в практику государства. Поэтому Моро были поручены следующие задачи: сверять административные документы, предоставлять их в распоряжение самой администрации (прежде всего финансовые документы, но также и другие) и, наконец, раскрывать эти документы, сокровищницу документов, людям, которые за плату от короля осуществляли бы нужные ему исследования.⁷ Понятно, что Моро не Расин, что Людовик XVI не Людовик XIV и что мы далеки от церемониального описания перехода через Рейн — но все же какво различие между Моро и Расином, между старой историографией (которая встречается в наиболее подлинном виде в конце XVII века) и тем родом истории, которую государство желало взять под свое покровительство и свой контроль в конце XVIII века? Можно ли сказать, что история перестала быть дискурсом государства о себе самом с тех пор, как, похоже, отказались от придворной историографии и взяли за основу историографию административного типа? Я думаю, что различие значительно и что оно, во всяком случае, должно быть определено.

Теперь необходим, если угодно, новый *excursus*. Так называемую историю наук от генеалогии знаний отличает именно то, что первая располагается на оси, которая в основном является осью познания — истины, или, во всяком случае, осью, протянувшейся от структуры познания к требованию истины. В противоположность этому генеалогия знаний находится на совсем другой оси, на оси дискурс — власть или, если угодно, на практической оси дискурсивного противостояния власти. Итак, мне кажется, что если применить это представление к тому привилегированному в силу множества причин периоду, каким был XVIII век, если применить его к определенной области и региону, то окажется, что генеалогия знаний прежде всего, до всякого иного воздействия, мешает делу Просвещения. Она мешает тому, что в ту эпоху (и еще в XIX и в XX веках) описывалось как прогресс Просвещения, как борьба знания против невежества, разума против химер, опыта против предрассудков, рассудка против заблуждения и т. д. От всего, что символически представлялось как приход дня, рассеивающего ночь, нужно было, как я думаю, освободиться; зато нужно было, вместо отношения между днем и ночью, между знанием и невежеством, воспринять в ходе XVIII века нечто совершенно отличное: огромную и многообразную борьбу не между познанием и невежеством, а между знаниями — знаниями, противостоящими друг другу в силу их собственной морфологии, в силу враждебности друг к другу тех, кто обладал знаниями, и в силу связанных с ними последствий для власти.

Я здесь рассмотрю один или два примера, которые временно уведут меня от истории — примеры из области технического, технологического знания. Часто говорят, что XVIII век — век появления технических знаний. Фактически же в XVIII веке произошло совсем другое. Прежде всего утвердилось разнообразное, полиморфное, множественное, рассеянное существование различных знаний, которые соответствовали географическим регионам,

размеру предприятий, мастерских и т. п. — я говорю о технологических знаниях — а также социальным слоям, воспитанию и богатству тех, кто ими обладал. Эти знания находились в состоянии борьбы друг с другом, противостояли друг другу в обществе, где секрет технологического знания был равноценен богатству и где независимость знаний по отношению друг к другу означала также независимость индивидов. Итак, множественное знание, знание — секрет, знание, служащее богатством и гарантией независимости: именно в такой раздробленности функционировало технологическое знание. Однако по мере того, как развивались производительные силы и экономические требования, возрастала цена знаний и все сильнее и в некотором роде напряженнее становились их борьба между собой, разграничения, проводимые с целью обеспечения независимости, требования секретности. Одновременно проходили процессы аннексии, конфискации, опеки самых малых знаний, особенных, локальных, кустарных, со стороны знания самого большого, я хочу сказать, самого всеобщего, индустриального, того, что циркулировало легче других; существовала огромная экономико-политическая борьба вокруг знаний, по поводу знаний, продиктованная их рассеянием и гетерогенностью; огромная борьба шла вокруг экономических и политических последствий, связанных с исключительным обладанием знанием, с его рассеиванием и секретностью. Именно многообразие независимых, гетерогенных и секретных знаний нужно иметь в виду, когда речь заходит о развитии технологического знания в XVIII веке: именно множественность, а не прогресс в виде перехода от ночи ко дню, от невежества к знанию.

Итак, в эту область борьбы, попыток аннексии, или, что то же, попыток обобщения, вмешивается, прямо или косвенно, государство посредством, как я думаю, четырех крупных процедур. Во-первых, посредством исключения, дисквалификации того, что можно было бы назвать мелкими, бесполезными и чересчур своеобразными знаниями, к тому же экономически невыгодными; итак, исключение и дисквалификация. Во-вторых, посредством приведения знаний к норме, что должно позволить приладить их друг к другу, заставить их общаться между собой, сломать барьеры секретности и географических и технических разграничений, короче, сделать взаимозаменяемыми не только знания, но и их обладателей; итак, нормализация рассеянных знаний. В-третьих, с помощью иерархической классификации знаний, позволившей совместить одни из с другими, начиная с самых своеобразных и практических значений, которые в то же время оказываются подчиненными, и до самых общих, самых формальных знаний, которые одновременно явятся формами, охватывающими и направляющими все знание в целом. Итак, иерархическая классификация. И наконец, в-четвертых, посредством пирамидальной централизации контролируются знания, обеспечивается их отбор и одновременно переносится снизу вверх содержание знаний, а сверху вниз — совместное направление и общую организацию, которую хотят сделать преобладающей.

Такому преобразованию организации технологических знаний соответствовала вся совокупность практик, предприятий, институтов. Например, Энциклопедия. Привыкли видеть только одну сторону Энциклопедии, ее политическую или идеологическую оппозицию монархии и, по крайней мере, одну из форм католицизма. На деле ее значение в области технологии заключалось не в акценте на философском материализме, а исключительно в политической и экономической процедуре гомогенизации технологических знаний. Серьезные исследования о методах ремесла, о металлургической технике, о добыче

на рудниках и т. д. — эти большие исследования, проделанные с середины до конца XVIII века, — соответствовали нормализации технических знаний. Существование, создание или развитие крупных школ, вроде Высшей горной школы или Школы строительства мостов и дорог и т. д., позволили определить одновременно качественные и количественные уровни, разрывы, страты между различными знаниями, что и позволило провести их иерархизацию. И наконец, существовал корпус инспекторов, которые на всем пространстве королевства давали инструкции и советы по приведению в порядок и использованию технических знаний, что обеспечивало их централизацию. То же самое можно было бы сказать — я рассмотрел пример технических знаний — о медицинском знании. Вся вторая половина XVIII века заполнена работой по гомогенизации, нормализации, классификации, централизации медицинского знания. Как придать содержание и форму медицинскому знанию, как наложить единообразные правила на практику медицинских услуг, как приучить население к этим правилам и сделать их для него приемлемыми? Это было время создания госпиталей, диспансеров, возникло Королевское общество медицины, проходила огромная кампания по осуществлению гигиены всего общества, а также гигиены новорожденных и детей более старшего возраста и т. д.⁸

В основном во всех этих мероприятиях, примеры которых я только что привел, речь шла о четырех вещах: о селекции, нормализации, иерархизации и централизации. Именно эти четыре операции можно наблюдать в действии при хоть немного детализированном изучении того, что называется дисциплинарной властью.⁹ XVIII век был веком дисциплинирования знаний, то есть внутренней организации всякого знания как дисциплины, имеющей в своей собственной области одновременно критерии селекции, позволяющие устранить ложное знание, не-знание, формы нормализации и гомогенизации содержания, формы установления иерархии и, наконец, порядок централизации знаний в ходе их подчинения определенным аксиомам. Итак, обустройство каждого знания как дисциплины и, с другой стороны, установление отношений между дисциплинированными таким образом знаниями, установление связей между ними, их разделение на классы, их взаимная иерархизация в некоей глобальной области или глобальной дисциплине, которая именно и называется «наукой». До XVIII века науки не существовало. Существовали науки, знания, существовала также, если угодно, философия. Последняя была поистине системой организации, или скорее коммуникации знаний друг с другом, и именно в силу этого она могла играть действительную, реальную, эффективную роль в развитии знаний. Теперь вместе с процессом дисциплинирования знаний возникает фактически в своей полиморфной единственности принуждение, которое составляет целое с нашей культурой и называется «наукой». В этот момент, как я думаю, на самом деле исчезает глубокая и основополагающая роль философии. Теперь философия больше не будет играть эффективной роли в науке и в процессах знания. В то же время и в связи со сказанным исчезает *mathesis*^[23] как проект универсальной науки, которая бы служила одновременно формальным инструментом и строгой основой всех наук. Наука как общая область, как дисциплинарная полиция знаний, пришла одновременно на смену философии и *mathesis*. И она начинает теперь ставить проблемы, характерные для дисциплинарной полиции знаний: проблемы классификации, иерархизации, проблемы смежности и т. д. В силу того значительного изменения, какое означало дисциплинирование знаний и прекращение, следовательно, воздействия на науку философского дискурса и внутреннего проекта *mathesis* в науках, XVIII век воспринимал себя, как известно, только как эпоху прогресса

разума. Необходимо хорошо сознавать, что так называемый прогресс разума был дисциплинированной полиморфных и гетерогенных знаний, и только с этих позиций можно понять некоторые вещи. Сначала появление Университета. Конечно, не появление в строгом смысле, поскольку университеты существовали и играли свою роль гораздо раньше. Но начиная с конца XVIII и в начале XIX века — создание наполеоновского университета происходит именно в этот момент — появляется как бы большой единообразный аппарат знаний с его различными ступенями и ответвлениями, с его ярусами и выступлениями. Университет выполняет, прежде всего, функцию отбора, отбора не только людей (в конечном счете это не очень важно), но и знаний. Он выполняет роль селекционера в силу своей фактической и правовой монополии: в результате знание, которое не рождено и не сформировано внутри такого рода институциональной области, хотя с относительно изменяющимися границами, но тем не менее включающей в себя университет и официальные исследовательские объединения, знание, которое рождено вне всего этого, квалифицируется лишь как незаконное знание, рожденное в другом месте знание автоматически оказывается сразу если не исключенным, то, по крайней мере, а priori дисквалифицированным. Исчезновение любительского знания это известный факт XVIII-XIX веков. Итак, роль университета заключается в селекции знаний; в распределении ступеней, качества и количества знаний на различных уровнях; в обучении со всеми преградами, существующими между различными ступенями университетского аппарата; в гомогенизации знаний через установление своего рода научной общности с признанным статусом; в организации консенсуса; и наконец, в прямом или косвенном воздействии на централизацию государственного аппарата. Итак, появление некоей реалии вроде университета с его ответвлениями и изменяющимися границами в начале XIX века становится понятным, если учитывать происходившее тогда дисциплинирование знаний, наложение дисциплины на знание.

Исходя из этого можно понять и второй факт: а именно, изменение формы догматизма. Внутренняя дисциплина знаний ведет к появлению особой формы контроля с предназначенным для этой цели аппаратом; новая форма контроля, понятно, позволяет абсолютно отвергать то, что ранее считалось ортодоксией, претендовавшей на контроль в отношении высказываний. Ортодоксией дорогостоящей, так как старая ортодоксия, основа религиозного, церковного контроля над знанием, влекла за собой осуждение, исключение некоторого числа высказываний, которые в научном отношении были истинны и плодотворны. Такая ортодоксия, которая в своих контрольных функциях касалась самих высказываний и сортировала их на соответствующие и несоответствующие, на приемлемые и неприемлемые, в ходе внутреннего дисциплинирования знаний, происшедшего в XIX веке, была заменена на другое: на контроль, который не касался содержания высказываний, их соответствия или несоответствия определенной истине, а распространялся на правомерность высказываний. Вся суть состояла теперь в том, чтобы знать, кто говорил и имел ли он квалификацию, чтобы говорить, к какому уровню принадлежит высказывание, в какую совокупность оно может быть помещено, как и в какой мере оно соответствует другим формам и типологиям знания. Это допускает сразу, с одной стороны, либерализм в том, что касается самого содержания высказываний, либерализм если не безграничный, то, по крайней мере, довольно широкий, а с другой стороны, бесконечно более строгий контроль, более масштабный, широкий, который осуществляется на самом уровне процедур высказывания. И сразу из этого вполне естественно следует возможность гораздо большей

ротации высказываний, гораздо более быстрого устаревания истин; это объясняет эпистемологическое растормаживание. Насколько ортодоксия, ориентированная на содержание высказываний, была помехой обновлению запаса научных знаний, настолько же дисциплинирование на уровне высказываний позволило с гораздо большей скоростью обновлять высказывания. Иначе говоря, от цензуры высказываний перешли к дисциплине высказывания, или же от ортодоксии перешли к чему-то, что я бы назвал «ортологией», имея в виду форму контроля, которая теперь осуществляется исходя из дисциплины.

Ладно! Я немного заблудился во всем этом... Ранее было проведено исследование и показано, как дисциплинарные техники власти¹⁰, взятой на ее самом разреженном, самом элементарном уровне, на уровне тел самих индивидов, смогли изменить политическую экономию власти, модифицировали ее аппараты; как те же самые дисциплинарные техники власти, обращенной на тело, вызвали не только накопление знаний, но и разблокировали области возможного знания; и затем, как запущенные властью формы обращенной на тела дисциплины выгнали из этих подчиненных тел душу-субъект, «я», психическое и т. д. Все это я пытался исследовать в последний год.¹¹ Я думаю, что теперь нужно было бы изучить, как осуществляется другая форма принуждения к дисциплине, дисциплинированию, которое устанавливается одновременно с первой, но касается не тел, а знаний. И я думаю, можно было бы показать, как относящееся к знаниям дисциплинирование вызвало эпистемологическую разблокировку, новую форму, новую последовательность в умножении знаний. Можно было бы показать, как дисциплинирование ведет к новому порядку в отношениях между властью и знанием. Можно было бы показать, наконец, как на основе дисциплинированных знаний возникло новое принуждение, теперь уже не принуждение со стороны истины, а принуждение со стороны науки.

Все это несколько отдаляет нас от королевской историографии, от Расина и Мора. Можно было бы возобновить анализ (но я этого не буду здесь делать) и показать, каким образом в тот самый момент, когда история, историческое знание как раз вошло во всеобщую область борьбы, история оказалась, но в силу других причин, в основном в той же ситуации, что и технологические знания, о которых я вам только что говорил. Технологические знания с их дисперсией, с присущими им морфологией, регионализацией, с их локальным характером, с окружающей их тайной были одновременно целью и инструментом экономической и политической борьбы; и в эту общую борьбу одних технологических знаний с другими вмешалось государство, выполняя функцию, роль дисциплинирования, что одновременно означает селекцию, гомогенизацию, иерархизацию, централизацию. И историческое знание в силу совершенно других причин и почти в ту же самую эпоху включалось в область борьбы и сражений. Определяющими здесь были не непосредственно экономические причины, а борьба, и борьба политическая. В самом деле, когда историческое знание, которое до того было частью дискурса государства или власти о себе самой, было оторвано от власти и стало инструментом политической борьбы, власть начала на протяжении всего XVIII века прилагать усилия для овладения им и подчинения его дисциплине, как она это делала в отношении технологических знаний. Создание в конце XVIII века министерства истории, создание большого хранилища архивов, которое к тому же должно было стать в XIX веке Школой хартий, что произошло почти одновременно с созданием Высшей горной школы, Школы мостов и дорог, — неважно, что последняя создавалась немного иначе, — также соответствует дисциплинированию знания. Для королевской власти речь шла о том, чтобы установить дисциплину в историческом знании, в исторических знаниях и утвердить таким

путем государственное знание. В сравнении с технологическим знанием выявляется только одно различие: в той самой мере, в какой история — как я думаю — является знанием, по существу, антиэтатистским, между дисциплинированной государством историей, ставшей содержанием официального обучения, и историей, связанной с борьбой, выступающей как форма сознания борющихся субъектов, существует постоянное столкновение. Противостояние не уменьшается проведением дисциплинаризации. Если можно сказать, что в области технологии осуществленное в течение XVIII века дисциплинирование было в целом действенным и успешным, то зато в отношении исторического знания, хотя и проводилось дисциплинирование, но оно не только не помешало, а в конечном счете усилило, по причине разыгрывающихся битв, конфискаций, взаимных споров, негосударственную историю, историю децентрализованную, историю борющихся субъектов. И поэтому мы постоянно имеем два уровня исторического сознания и исторического знания, два уровня, которые наверняка стремятся все больше и больше соприкоснуться друг с другом. Но подобный сдвиг никогда не мешает существованию того и другого: с одной стороны, подлинно дисциплинированного знания в форме исторической дисциплины и, с другой стороны, полиморфного, разделенного и борющегося исторического сознания, которое является просто другим аспектом, другим лицом политического сознания. Это очень малая часть того, о чем я попытаюсь вам рассказать, имея в виду конец XVIII и начало XIX века.

Версия #1

Зверобой создал 27 января 2026 04:45:55

Зверобой обновил 27 января 2026 04:47:32